

**ЛУИС
И КАМИЛА**

ОСТИН

ИЮНЬ 2019

Дорогая Камила,

только сейчас я понял, что за минувший год моей жизни самыми полноценными и истинными моментами счастья были потасовки, которые моя младшая дочь Кармен называет войной. Этот недолгий ритуал потешной битвы Кармен устраивает ежевечерне, прежде чем лечь спать. Гневно посмотрев мне в глаза, принимается молотить меня ногами и руками, ее воинственные нападки, скорее всего, вдохновлены каким-нибудь боевым искусством, подсмотренным в школьном дворе, а я должен поймать одну из ее взлетающих конечностей, обездвигить ее, перевернуть в воздухе и бросить на кровать, она пытается встать, а я ей не позволяю, толкаю в лоб и отбрасываю назад; не в силах удержаться в сидячем положении, она шлепается на подушку и делает попытку подняться, а я снова ее отталкиваю. Затем хватаю за лодыжки, одним рывком переворачиваю лицом вниз и принимаюсь щекотать, пока она не скажет “хватит”. Она терпит изо всех сил и наконец сдается,

хохоча и повизгивая. Иногда уворачивается и бьет меня по носу, причем довольно чувствительно, или же я случайно задеваю ее ногтем и оставляю царапину, или она ударяется о стену, и дело кончается слезами. Но в основном битва проходит гладко, Кармен требует, чтобы мы повторили сальто, я переворачиваю ее, ухватив за лодыжки, затем щекочу ступни, а она меня шантажирует, уверяя, что, если мы не продолжим сражаться, она не поцелует меня на ночь, — знает, что я не привык засыпать без ее прощального поцелуя.

Иногда я не успеваю вернуться домой вовремя, и Кармен ложится спать, так меня и не дождавшись, или же я настолько устаю, что просто не в состоянии подбрасывать ее в воздух в уверенности, что не сломаю ей шею или не растяну лодыжку. В такие дни меня преследует мысль, что нашим войнам пришел конец, что я, сам того не подозревая, упустил последний шанс, что на следующий день Кармен ничего уже не захочет и через день тоже, а потом внезапно вырастет, и ей разонравится бесцеремонное подбрасывание в воздух, разонравятся щекотка и смех, она передумает так дорого продавать свой поцелуй на ночь и будет молча чмокать меня в щеку, чтобы побыстрее отделаться. Как в один прекрасный вечер около года назад она впервые потребовала битву перед сном, так однажды она перестанет об этом просить, и как бы я ни старался прибывать вовремя на очередное сражение, одна из битв станет последней, а я этого не пойму (если только финал не станет результатом несчастного случая, например, смертельного удара затылком об угол стола,

я всегда подозревал, что такое может случиться, потому что, к сожалению, все, чего мы боимся, в конечном итоге когда-нибудь случается) до тех пор, пока вечер за вечером наши сражения не начнут изменяться: то я в командировке, то она в летнем лагере, и постепенно время положит конец войнам, Кармен станет старше, а я старше, наши потасовки превратятся в счастливые воспоминания детства, сведясь к точному и исчерпывающему количеству сражений: первое, множество других и последнее. Числа этого мы не знаем, нас не интересовало количество битв, и все-таки я постоянно помню, что число это существует, и если был первый раз, то, скорее раньше, чем позже, наступит еще один, на этот раз последний.

Это касается не только войн с Кармен, но и многих других любимых и повторяющихся событий: сколько раз после воскресного обеда я прощался с мамой, думая, что этот обед может быть последним, сколько раз, уезжая в командировку, целовал на прощанье троих своих детей и, когда они оставались вдали, думал, что, возможно, это был последний поцелуй, потому что самолет может разбиться или они сгорят в нелепом пожаре, вызванном увлажнителем воздуха, который, по мнению жены, предотвращает у детей кашель и которому я доверяю не больше, чем снадобьям, купленным в травяной лавке. Нечто похожее происходит и с тобой, происходит с тех пор, как я впервые тебя поцеловал, а потом лег спать, молясь о том, чтобы этот первый поцелуй, такой невероятный, такой неожиданный, не был последним, а на следующий день, когда ты поцело-

вала меня еще раз, я начал вести учет каждого поцелуя, который мы подарили друг другу за те три дня нашей первой встречи. Пока мы не увиделись снова, я много ночей сражался с призраком последнего поцелуя, сопротивляясь мысли о том, что, целуя тебя, я и думать не мог, что этот поцелуй не повторится, что все кончено, занавес опустился, зрители разошлись по домам, а я по-прежнему сижу в партере, ожидая второго акта. Когда через год мы вернулись на место преступления и ты поцеловала меня в аэропорту, прежде чем я успел произнести все слова, вертевшиеся у меня в голове на протяжении полета, пока я тщательно продумывал, что скажу тебе при встрече, я успокоился и перестал наконец вести счет, утратил страх перед неизбежностью конца, убедил себя в том, что все это будет повторяться каждый год, последний поцелуй исчез из виду, затерявшись где-то в далеком будущем.

Сколько времени я убил понапрасну, погружаясь в затуманивающие сознание страдания каждый раз, когда нечто заставляло меня вспоминать о том, что все, чем я дорожу, имеет начало и однажды закончится. Я стараюсь побыстрее избавиться от этой навязчивой мысли, прежде чем смятенный мозг вылепит видение последнего раза, его созерцание поглотит меня, и я больше не смогу защитить разум от тлетворного влияния этих бесплодных усилий.

Вот почему в тот миг, когда мне в руки случайно попала папка с перепиской известного писателя с его возлюбленной — оба давно мертвы, — я невольно опечалился: видя на дне папки первое письмо любовной переписки, а сверху последнее, я при-

кинул на глаз, сколько листов уместилось между обоими письмами, первым и последним, а значит, сколько писем оставалось каждый раз до завершения их отношений. Набор свидетельств, сохранившихся в мире от их любовной истории, имел толщину едва ли в полсантиметра и умещался в пространстве размером тридцать пять на двадцать пять сантиметров, что примерно соответствовало объему папок цвета слоновой кости, в которые разложены письма из 11-го контейнера архива Уильяма Фолкнера в Центре Гарри Рэнсома, где я убиваю время сегодня утром и где, скорее всего, проторчу весь этот день, а заодно и последующие дни, пока не забуду полностью о цели своего визита, успевшего потерять для меня всякий интерес. Слишком уж соблазнительны эти бумаги, которые, как я тебе уже говорил, попались мне случайно, зато теперь они заключают в себе возможность найти ответы, а потому захватили меня полностью, как подростка раздел о любовных делах в молодежных журналах. Но тем не менее содержимое папки наводит меня на новые и новые вопросы. Какие перспективы у нашей истории (давай будем называть это “нашей историей”, за неимением лучшего термина)? Какой след она оставит, какие отпечатки, какой пепел? Свидетельств больше нет. Я удалил все, абсолютно все, и, насколько мне известно, ты тоже. Я просто знаю, что в прошлом году видел тебя четыре дня в эти же даты, в этом же городе, а годом ранее — еще три дня в те же дни и в том же месте. “Видеть тебя” — эти слова заключали в себе все. У меня была ты, у тебя был я. Мы были друг у друга.

Интересно, нет ли в каком-нибудь уголке Южной Дакоты или на Мальте работающего сервера, где все еще хранятся заархивированные копии всех наших удаленных сообщений? Осталось, правда, несколько фотографий с пейзажами, которыми мы любовались вместе и которыми оба делились в соцсетях, но всегда осторожно, чтобы кто-нибудь не заподозрил, что мы имели какое-то отношение друг к другу. Так, на фотографии в инстаграме остался неповторимый рисунок облаков в тот день, который мы провели вдвоем. И еще у меня осталась книга, подаренная тобой в остинском книжном, и теперь я очень сожалею, что попросил тебя не подписывать ее на память, опасно и предусмотрительно заметив, что нельзя оставлять следов *нашей истории*: бегло и завистливо заглянув в частную переписку мистера Фолкнера, я внезапно почувствовал потребность в том, чтобы у меня сохранился крошечный след, отзвук, намек, напоминающий о том, что *наша история* действительно существовала, что нас что-то объединяло. Я не собирался ничем утолять этот голод, и, пока не попал сюда, мне приносило огромное облегчение именно отсутствие следов, тот факт, что у меня не имелось фетиша, прикосновение к которому заставило бы погрузиться в круговерть фантазий о том, как могла бы пройти эта неделя с тобой; я был рад, что у меня не сохранилось ни единой фотографии, могущей воскресить воспоминания о четырех ночах, проведенных вместе в прошлом году, и о трех других ночах — годом ранее. Мне трудно поверить, что мы были вместе всего семь дней, они занимают столько места, поэтому мне едва удастся

думать о чем-то другом, пока я хожу по городу, зная, что и ты сейчас где-то неподалеку, возможно всего лишь в пятистах метрах от меня, и пробудешь здесь еще четыре ночи. Я не собирался тебе писать, я согласен с твоим решением и не требую объяснений, просьбу в твоем последнем сообщении я воспринял как приказ: “Мой муж в последнюю минуту решил ехать со мной, пожалуйста, не пиши мне больше. Останемся воспоминанием. Прощай, люблю тебя”. Я стер сообщение, перечитав его двадцать раз, затем удалил твой номер мобильного, чтобы избежать соблазна (электронную почту я забыть не смогу, слишком она проста). Это “останемся воспоминанием”, которым ты предлагаешь мне утешиться, превратилось в неожиданную проблему: чтобы воспоминание не исчезло, нужно где-то его хранить, однако, как известно, воспоминания, не подкрепленные образами, словами или предметами, постепенно стираются из памяти, утрачивают свою отчетливость, контуры их размываются, цвета расплываются, и нам остается лишь туманное пятнышко света на фоне тьмы, которая в конечном итоге все поглощает.

“Останемся воспоминанием”, говоришь ты, и, одержимый манией высчитывать и определять все, что случается в последний раз, я понимаю, что эта фраза, вероятно, будет последним глаголом, который мы проспрягаем, придав ему форму первого лица множественного числа, — нашим последним совместным действием от первого лица множественного числа будущего времени. Странная просьба, не возьму в толк, какую пользу может нам это принести, тем не менее для начала воспоминание следует выстроить и зафик-

сировать таким образом, чтобы мы могли в нем остаться. Моих слов хватает только на бальзамирование. А потому позволь написать это письмо, хотя я, вероятно, никогда его не отправлю: мне достаточно знать, что я с тобой беседую, хочу еще немного послушать тот особенный голос, которым я говорил только с тобой: он рождался во мне только в твоём присутствии. Это так пошло и недостойно, но я хочу услышать собственный голос, который вот-вот утонет в твоём молчании, поиграть еще немного на этом блестяще освоенном мною инструменте, который служил исключительно для того, чтобы ты его слышала.

Пишу эти строки, и у меня закрадывается подозрение, уж не влюбляемся ли мы в себя влюбленных, не боюсь ли я утратить прежде всего возможность быть человеком, влюбленным в тебя, человеком, который может делать, говорить и чувствовать то, что делает, говорит и чувствует влюбленный. Сомнения обоснованы: в конце концов, я провел с тобой всего семь дней, точнее три дня, за которыми наступила годичная разлука, а потом еще четыре дня и еще один год пустоты, который должен был завершиться вчера грандиозной встречей в аэропорту. Следует считать также и время, проведенное вдали от тебя, потому что разлука важна для нашей истории, как тишина в музыке или тень в живописи.

После первых трех дней, проведенных с тобой два года назад, я понял, что на самом деле вернулся не только в Мадрид, но и в свою жизнь, поскольку три дня я прожил в другой жизни. Та другая жизнь тоже была полностью моей, это она порождала тот голос, исходивший из меня только в твоём присут-

ствии, и никто в ней больше не помещался, а обычная жизнь, которая, по-видимому, снова стала моей единственной, исчезала, пока не возобновлялось твое отсутствие. У человека может быть более одной жизни, но он не умеет пребывать в обеих одновременно и думает, что у него она только одна, а потом внезапно оказывается в другой, которая тоже ему принадлежит.

Мы деликатно избегали разговоров о наших других жизнях (жизнях или партнерах, не знаю, как правильно выразиться), мы прятали их друг от друга в герметичных хранилищах из чисто гигиенических соображений: чтобы не смешивать одну с другой. Я не хотел слышать твоего мнения о той жизни, куда мне предстояло вернуться, и не хотел представлять тебя в твоей, изучать ее свет и ее тени или сравнивать себя с твоим мужем, а тебя с моей женой. Было важно освободить друг друга от тех, кто мы есть, пока не видим друг друга, от тех, к кому нам скоро предстоит вернуться. Сейчас все будет по-старому, я не собираюсь рассказывать тебе о своей жизни, по крайней мере называя все своими именами, в своем рассказе я прибегну к метафоре: итак, к моменту твоего появления моя жизнь представлялась мне огромным кораблем, груженным контейнерами, одни из них были забиты токсичными отходами, другие — иллюзиями с истекшим сроком годности, обязанностями, заботами, подавленными желаниями. Судно неповоротливо, а океан слишком огромен. Каждое утро ты просыпаешься в одной из кают, надеясь, что волнение уляжется, что скоро появится порт, где ты сможешь выгрузить часть груза, потому

что в любой мало-мальский шторм все эти наставленные друг на друга контейнеры сдвигаются, и судно опасно кренится. И вот посреди этого плаванья я встретил тебя, и, как ни удивительно, несколько дней, проведенные с тобой, легли на судно необходимым противовесом, оно обрело устойчивость, набрало скорость, прибыло в порт и — о чудо! — выгрузило десяток-другой ящиков.

Три или четыре дня в году — идеальное решение, их не должно быть больше. Та часть нас, которую мы скрываем от других, должна быть невелика, в противном случае мы станем абсолютно непроницаемы для близких или, что еще хуже, станем слишком понятны тем, с кем нас объединяет близость двоих незнакомцев. В жизни наступает момент, когда только с незнакомцами, не боясь напугать их или разочаровать, можно говорить о скрытых желаниях, о том, во что мы перестали верить, о том, кем мы больше не хотим быть, и о том, кем постепенно становимся.

Я становлюсь невыносимо поэтичным (в худшем смысле этого слова, возможно, правильнее было бы сказать пошлым), меня начинает тошнить от этих аллегорий — о голосе, которым я говорю только с тобой, и о жизненном корабле. В Остин я прибыл главным образом для того, чтобы использовать выражения, которым ты меня научила, потанцевать с тобой в обнимку, потискать тебя, трахнуть в такси по дороге в отель, отдубасить крысу палкой (это, без сомнения, мое любимое мексиканское выражение), вдуть, засадить, или попросту, как говорим мы, испанцы, хорошенько тебя отодрать,

о чем мы мечтали, что предвкушали и чего жаждали целый год. Вместо этого я воспаряю в метафорах, обряжая труп *нашей истории* с большим тщанием, чем обряжали египетскую мумию. Альтернатива состоит в том, чтобы постараться не думать о тебе, не думать о том, что ты разгуливаешь по этому же кампусу, в то время как я пытаюсь писать красиво (читай: пошло), и, возможно, столкнусь с тобой на выходе из Центра Гарри Рэнсома, и сосредоточиться на том, за чем я, собственно, сюда прибыл, а именно — на репортаже на четыре или пять страниц для воскресного приложения к газете, потому что финансовый директор, который у нас, по сути, всем заправляет, не видел смысла оплачивать мне поездку только затем, чтобы я поприсутствовал на конгрессе, *на кой черт сдался газете этот конгресс, если тамошние тусовки транслируются по всем каналам*; однако все было бы куда проще, увидь он, как мы отплясываем в “Белой лошади”: мигом бы сообразил, что энтузиазм, который я привезу с собой по возвращении, заразит всю редакцию. Таковы будни испанской медиагруппы, вечный базарный торг: *я оплачу тебе поездку, но самым дешевым рейсом с тремя пересадками, отель Holiday Inn, питаться будешь бутербродами, а взамен привезешь репортаж или что-то, оправдывающее расходы*. Скорее всего, в следующем году поездку мне уже никто не оплатит, вряд ли мне удастся выжать из Остина больше одного репортажа, к тому же теперь это не имеет значения, изначальный смысл поездки исчез, приехать ради воспоминаний — так себе идея, я всегда убеждал себя в том, что не верю в ностальгию.